

# Эффективные гектары

## *Предания посевного календаря*

(Excerpt in Russian)

Translated by: Evgeniia Shatko  
Contact of the translator: eshatko@gmail.com

### **Октябрь: на земле надобно трудиться**

Мы с братом – экскаватор, мы с братом – слаженный тандем.

– Копай! Выгребай! Трамбуй!

Брат копает, выгребает, трамбует.

– Копай! Выгребай! Трамбуй!

Я копаю, выгребаю, трамбую.

Наше братство – наше единство, наша общность – союз безумцев.

– Ну и глинозем, подумать только!

Я поспешаю. Думать некогда.

– Подсыпь еще земли!

Брат тоже поспешает. Повезло мне с ним.

– Подсыпь сюда!

Немало сражений проиграно из-за того, что у безумцев не было товарищей.

– Ну, давай же!

Нет, скорее, наоборот. Немало сражений проиграно как раз из-за того, что у безумцев были товарищи.

– Теперь – ты!

Солнце того гляди сядет за лесом, а у нас еще восемь саженцев.

– У меня задница просто отваливается, – вздыхаю я.

– А она у тебя есть? – издевается брат.

Копаем, выгребаем, трамбуем, хохочем.

– Да я и ног уж под собой не чую.

– Завтра почуешь – мало не покажется!

Наши конечности – наша механизация, наш участок – конвейер. Трудовой процесс тщательно продуман и оптимизирован.

– На работе – и то не так упыхиваешься!

Мы вошли во вкус, силы еще есть.

Сначала – лунка. Копает. Потом – камни. Выгребаешь. Подсыпаешь земли. Трамбует. Слива, подпорка. Компост. Тачка пуста. Как – пуста? Да вот же ж, пуста. Твоя очередь! Брат бежит за компостом, я спрыгиваю в лунку. Корешки: мягкие ворсинки. Немного земли. Горсть какого-то белого порошка. Что это – перец? Цеолит. Что-что? Вулканическая порода такая. Это что – так надо? Да. Зачем? Затем. Надо – и все. Это у тебя понты такие? Это у Вселенной понты. Ха-ха, понты! Вот тебе компост. Нагребай! Гребу – нагребаю, сгребаю, подгребаю. Сажай! Сажаю – держу, присыпаю, ровняю. Трамбуй! Трамбую – топчу, утаптываю, уплотняю. Давай, еще, еще! Думать некогда, все давай-давай! На дворе трава, на

траве дрова. Рубят дроворубы сыры дубы на срубы. Дерево обретает дом. Вода?! Лейки пусты. А-а-а! Бегу за водой. Брат: «Вселенские понты, ха-ха!» Деревце, подпорка. Две бечевки крест-накрест. Ровно? Не совсем. А теперь? Вода. Полито. Утопано. Подвязано. Готово!

Осталось еще семь.

– Черт! Ничего не вижу.

– А фонарик на что?

– Ну, и где он?

– Где-где... Наверху. Механизация, ха-ха.

– Где – наверху? У компостной кучи?

– Ну ты прям угадал!

Мы с братом – слаженный тандем.

– И ты мне говоришь об этом только сейчас?! Минуту назад я туда мотался!

– Ой, да ладно тебе...

Наше братство – наше единство.

– Минуту назад было еще светло!

Наша общность – союз безумцев.

– Это ненормально.

– А?

– Сажать сливы с фонариком! Ненормально.

Брат фыркает, всхрапывает и несется по косоугору вверх, а мне даже нечего сказать в свое оправдание. Мрак такой, что даже мысли путаются.

– А как же кодекс рачительного хозяина? – кричу ему вдогонку, наконец-то подобрал слова.

– Чё-о-о-о?! – слышно из дальних далей: брата поглотили потемки. Изо всех сил таращусь во тьму – без толку. На склоне кто-то разжигает костер. Надо бы испечь каштанов, думаю я.

– Кодекс! рачительного! хозяина! – ору, опасаясь, что рожденная в муках величественная формула ухнет в никуда:

– Не откладывай на завтра то, что можешь сдеееее...

В запале забываю о свежевыврытой лунке и поистине величественно плюхаюсь на задницу. Задницы у меня нет, поэтому я ее не чувствую. Мне ничуть не больно. Лежу: полустоймя, полунавзничь. Ноги в лунке, туловище на траве. С низовий тянет холодом. Тьма скрадывает звуки. Окрестностей нет. Конечностей нет. Нет слив, и уж тем более нет череды саженцев. Я и созвездия. Да и созвездий тоже нет: тишь. Осень – это почти зима. Раскидываю руки. Есть. Боль: она есть. Она изливается из тяжелых грязных сапог в немеющие изгвазданные ляжки, в безвольные чумазные руки, подбирается к патлам, которые еще утром звались волосами, а теперь их трудно выпростать из замурзанных клочков травы. Октябрьская земля студена, лежать на ней зябко. Можно простыть и заработать лихоманку на свою задницу. Что-что заработать? Лихоманку. И кто тебе будет виноват – потом, когда застудишь все, что можно, – в лучшем случае придатки и мочевой пузырь? Темень непроглядная. Месяц едва мерцает. Джимми! Джимми черен, как ночь. Джимми, ах ты, моя пропажа! Во тьме слышу, как он крадется меж саженцев, охотясь на мышей и полевков. Где ж костер-то? И куда девался брат? Сильное жжение струится от икр к бедрам и, просачиваясь сквозь таз, добирается до самых ребер – да вставай уже! Вот сделаем

дело – и наедимся каштанов. Джимми! Джимми, сорвиголова, меня понимает. Растягивается у меня на животе и мурлычет.

– Сил моих нет! – вздыхает кто-то. В темноте не угадать, откуда струится звук.

Из непроглядности выныривает брат:

– Поднять якоря, лодыри! Лопаты наперевес!

Еще семь.

...

Был май месяц, я приехала из Турина, с книжной ярмарки, и объявила бабушке, что намерена заняться маминой усадьбой. Бабушка ухватилась за стул, затем обернулась и оперлась на кухонную тумбу. Пошарила рукой в ящике, ощупала столешницу, печь – не пора ли растопить, снова повернулась, опять взялась за стул, села, положила руки на стол – на свежий итальянский перевод моего первого романа, трофей, который я привезла из Турина, всмотрелась в глубь моего существа и сказала:

– Но ведь на земле надобно трудиться...

Не так-то это просто – честно поведать о том, что было дальше. Не о том, что происходило на виду. О том, что делалось внутри. Я заискиваю перед своей памятью – пусть разворошит события, облекая их волшебной дымкой, кутая патиной, поволокой; сшиваю обрывки, отгибаю краешки, утюжу, как сказала бы моя бабушка, но все, что мне удастся выщедить, – не что иное как суесловие. Тут главное – не лукавить перед собой: сорвалась глыба и погребла весь дом и подступ к нему. Нет. Все подступы. Так будет честнее.

Кто-то рассмеялся. В недостижимом углу картины я вижу: вот я заламываю руки, театрально подрагивая пальцами, сыплю словами, стараюсь кого-то убедить, насупливаю брови и скукоживаюсь, превращаясь в убогий, комичный, ломаный вопросительный знак. Бабушка грозит мне, ничего не говоря; она не говорит: смейся-смейся, а я ведь серьезно... И вот, гляди-ка, у меня уж перехватывает дыхание, я уже понимаю, что происходит, понимаю, что женщина, стоящая передо мной, моя бабися, моя единственная еще живая бабушка, скрупулезно и без поблажки пересчитывает свои – не мои – годы, исчисляя их с нуля, всё опять с нуля, истолковывает их со свойственным ей норомом, но без горечи; она выкладывает их на стол своей убранной кухоньки, как карты для игры в «шестьдесят шесть» или, как ее называют у нас, «шнапс».

Были времена, когда мы семьей собирались в этой кухне, за этим столом, и играли по множеству конов. Дядя, тетя, бабушка и дедушка, иногда мама, иногда папа, а иногда и кто-то со стороны, залетный гость, из вечера в вечер разгадывали секреты удачной партии, заключали нерушимые союзы двое на двое, а затем в азартной игре страстно, почти маниакально считали козыри – как сброшенные, так и оставшиеся в рукавах. Вся кухня, весь дом, дрова в печи, чай на огне, внуки, правнуки, фотографии предков и календарь, купленный у пожарников, ходивших по домам, – на всем этом и держался тот лексикон, который картежники выписывали в воздухе, устремляя туда-сюда взор, вскидывая голову, поводя рукой или плечом, пиная друг друга под столом: для хорошей игры нужен был хороший напарник, а вместе с ним – и вечно секретный словарь потайных жестов. Надо было уметь прочитать каждый непрозвучавший слог, заметить мельчайшее подмигивание, а затем сопрячь накопленные сигналы с набором карт, который ты держишь в руке.

«Но ведь на земле надобно трудиться».

«Шнапс» – это такая игра, когда союзники располагаются далеко друг от друга, по разные стороны стола, а сбоку сидят «шпионы», от которых надо прятать не только карты, но и тем более телодвижения. Язык при этом – лучшее средство обмана. Вот почему картежники никогда не играют молча, они все время что-то говорят, все время что-то рассказывают, чаще всего ворошат общие потешные воспоминания, заливаяющие кухню, которые, подобно раскаленной лаве, схватываются по углам, как вулканическая порода – живая почва, из коей после первого же дождя полезут наружу стулья, стол, очаг и хлеб насущный. Так игроки в «шнапс», мухлевщики домашнего розлива, роясь в отрывочных воспоминаниях, чудом извлекают истину из дикой, хаотичной материи, которая годами сама собой наслаивалась в кухне, воплощают в той или иной форме подвиги, которые уже состоялись, и геройства, ожидающие впереди. Ведь все увиденное, все пережитое и все сказанное-услышанное тут же предрекает ход жизни: картежники лавируют меж рассказнями и счастливой картой, и стоит полночи разгореться в жерле печи – в горячий чай уж капают самогон, а в головах мреет плодоносный туман, сказочный гумус, который смешивает все тайны, сплавляет воедино все судьбы и любую, даже самую малую уверенность возгоняет в пар. Это миг, когда в крепко сложенных фразах зачинаются дети, когда оформляется в слова их суть, и велеречивые картежники, невзирая на бранные тела, словно превращаются в фей, оставляющих на печных шестках всамделишные дары, неизгладимый след. То, что предуготовано, сначала озвучивается – как пережитое. Затем воспоминание о небытии бессчетно повторяется, месится и мнется, формуется, проваривается, охлаждается и отстаивается, от кона к кону, из вечера в вечер, долго-долго – так долго, что в один прекрасный день прорастает истиной, а истина становится грядущим.

Вот так это и случилось: родился младенец, и «парки», сидевшие за картежным столом, оделили девочку своими чудесными пророческими дарами. Первая – истиной о слове, вторая – истиной о стихе, третья – истиной о бинокле, а четвертая...

«Но ведь на земле надобно трудиться».

Четвертой был поросенок, розовый и трогательный, ведь все свеженародившиеся поросята розовы и трогательны. Свиноматка, исторгшая в наш мир чертову дюжину поросят, была грузна и неуклюжа, ибо поросята, маленькие розовые хрюнчики-слепуны, денно и ночью висели на ее сосках, тянули молоко и добрели, превращаясь в бутузов. «Ооо, бедняжка свинка, тринадцать сосунков, ни дать ни взять бутузы!» Надо бы ухитриться сказать всю правду о том, на чьей лаве была замешана эта почва, но как? То, что у нас есть, это неоскверняемый осадок. Я вижу: иссиня-серая ивовая аллея там, где пробивается ключ, свежий луг, сливовые деревья, их округлые кроны, бабися в красной юбке окучивает картошку. Я сижу на вязаной попонке и пью липовый чай, уйму липового чая – столько, что бабисе приходится подливать мне его из заначки, припрятанной в корзине. Припас хранится в пивных бутылках – трех или четырех, и я требую его, произнося самое главное слово, из которого состоит мой маленький мир: «дудя» – соска. «Липовый чай творит чудеса! Сроду и до самой школы дитё ни разу не хворало!» Бабися подбирает мотыгу, попонку и корзину, я ковыляю за ней, расстояние меж нами растет, и вот мы идем-ковыляем мимо приземистых сливовых деревьев с округлыми кронами, вдоль

длинного картофельного поля, возле которого сладкая трава скашивается сразу – ведь ею кормят свинку-мамку, принесшую тринадцать поросят, чтобы они, бутузы, висли на ее титьках, точно пиявицы, а та уж и злобится, сердяга. У бабиси красная юбка, поверх нее – пестрый передник. У входа в хлев она оборачивается и говорит: «Ну, что – идем?» Пес Лука лает, я кльпаю следом, бабушка исчезает в хлеву, и вдруг оттуда доносится ор, жуткий ор, кто-то верещит, кто-то хрюкает, бабушка вопит, и в ее голосе непостижимым образом уживаются тревога и гнев, я еще слишком мала, чтобы вставить и свое слово, мне и невдомек, в чем дело, а меж тем это вопрос жизни и смерти: дебелия матушка-свинья, видимо, не сосчитав толком своих деток, придавила одного из поросят, навалившись на него всей тушей, «Ооо, поросенка прижала!», бедный поросенок, жалкенький и розовый, она размозжила ему копытце. Покалеченный хрюнчик не мог подняться и лишь оглушительно визжал; «дудя, дудя!» – добралась до бабушки, наконец, и я: она уже сооружала деревянную выгородку, деля хлев на две части.

Дудя. Словечко из мира детства зажило своей жизнью. Четыре месяца бедное поросю оправлялось от увечья в отдельном вольерчике и наверняка околено бы от тоски и одиночества, если бы ему не составлял компанию двухлетний, почти трехлетний ребенок, носивший в хлев бутылочку с молоком и крупяной сечкой. «Ты сидела в хлеву, на ворохе клевера, свиненок лежал у тебя на коленках и чмокал из бутылочки молоко, а ты оглаживала его, как куколку. "Хрюша дудя, – приговаривала ты. – Хрюша дудя"».

Такова была истина о слове, сулившая мне стать свинячьей нянькой.

*Перевод Жанны Перковской*